

По мнению Паскаля, самая низкая черта в человеке и в то же время признак его превосходства — это:

1. Искание материального благополучия.
2. Неверие.
3. Жажда славы.
4. Гордыня.

Правильный ответ вы сможете узнать, прочитав эту книгу...

СОДЕРЖАНИЕ



Предисловие	7
Мысли о религии и других предметах	9
Избранные афоризмы	251

«Человеком великого ума и великого сердца» называл Блез Паскаля Лев Николаевич Толстой. Наполеон сожалел о том, что Паскаль не был его современником и его уже невозможно сделать сенатором; с «драгоценными камнями» сравнивал произведения французского гения его соотечественник, математик XIX столетия Жозеф Бертран.

Считается, что эпоха Ренессанса (Возрождения) с ее преклонением перед наукой, искусством, красотой и мощью человеческого разума завершилась во Франции в первой четверти 1600-х годов, после вступления на престол короля Людовика XIII с его всесильным помощником — кардиналом Ришелье. Но можно смело утверждать, что Блез Паскаль, родившийся в 1623 году и умерший в 1662, — человек эпохи Возрождения: он был математиком, механиком, философом, писателем, физиком... Невероятная разносторонность! Паскаль внес свою лепту в создание математического анализа, теории вероятностей, сформулировал основной закон гидростатики, который ныне носит его имя. Кроме того, его имя навсегда вошло в историю религиозной мысли — рассуждениям о вере, Церкви, душе и

предназначении посвящено множество страниц в обширном наследии французского ученого.

«Будем же учиться хорошо мыслить!» – призывал Паскаль. Слова, актуальные для всех и во все времена...

19 июня 1623 – Блез Паскаль родился в городе Клермон-Ферран в семье чиновника.

1634 – в возрасте 11 лет мальчик начинает ставить первые физические опыты.

1640 – публикуется первая работа «Опыт о конических сечениях».

1642 – Блез Паскаль начинает работать над созданием «счетной машины».

1654 – создается «Мемориал», известный также как «Амулет Паскаля».

1656 – начало публикации «Писем к провинциалу».

1657–1658 – создаются записи, вошедшие впоследствии в «Мысли о религии и других предметах».

1662 – Блез Паскаль, с детства очень слабый здоровьем, умирает в возрасте 39 лет.

1663 – издается «Трактат о равновесии жидкостей», созданный Паскалем в начале 1650-х годов, и несколько других его работ в области математики и физики.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Нам мало известно о религиозных взглядах Блеза Паскаля в ранний период его научной деятельности. Ко второй половине 1640-х годов относятся первые сомнения ученого в правильности избранного им пути: не отвращает ли его наука от возможности спасения души?

В 1654 году Паскаль пережил мистическое озарение, результатом которого стал текст под названием «Мемориал», — его суть можно передать одной цитатой: «Забвение мира и всего, кроме Бога». Ученый практически забрасывает научную деятельность. А в середине 1650-х годов он пишет серию «Писем к провинциалу», в которых критикует лицемерие многих церковников — в первую очередь иезуитов.

Логическим продолжением духовного поиска стало произведение «Мысли о религии и других предметах», известное также под названием «Мысли», созданное в 1657–1658 годах. Правда, сам Паскаль издать свой труд не успел — это было сделано уже после его смерти на основе многочисленных черновиков. Основная идея книги — защита христианской веры, превознесение ее идеалов. Но нет ли в этом противоречия с предыдущими работами ученого? Наверное,

нет — ведь в тех же «Письмах к провинциалу» он критиковал не веру, а нечистоплотность некоторых служителей церкви... Можно ли примирить науку и религию? — вопрос, который до сих пор не имеет ответа. Мы предлагаем вам ознакомиться с «Мыслями» Паскаля — и, может быть, вы составите на этот счет собственное мнение.

МЫСЛИ О РЕЛИГИИ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТАХ



Статья I. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

(Вот к чему приводят нас естественные познания. Если они не истинны, то совсем нет истины в человеке; если же, напротив, они истинны, то он находит в них великий повод к смирению, будучи принужден принизить себя тем или другим способом. Так как он не может существовать, не веря им, то хотелось бы, чтобы он, прежде чем приступить к самым обширным исследованиям природы, не торопясь, серьезно посмотрел на нее, взглянул бы также на самого себя и рассудил, имеет ли он какую-нибудь со-размерность с ней при сравнении им этих двух предметов.)

1

Пусть же рассмотрит человек всю природу в ее высоком и полном величии; пусть перенесет свой взор с низших окружающих его предметов к тому блестящему светилу, которое, подобно вечной лампаде, освещает Вселенную. Земля покажется ему тогда точкой в сравнении с не-

объятным кругом, описываемым этим светилом; пусть он подивится тому, что этот необъятный круг, в свою очередь, не больше как очень мелкая точка в сравнении с путем, который описывают в небесном пространстве звезды. Но когда взор его остановится на этой грани, пусть воображение уходит дальше: скорее утомится оно, чем истощится природа в снабжении его все новой пищей. Весь этот видимый мир есть лишь незаметная черта в обширном лоне природы. Никакая мысль не обнимет ее. Сколько бы мы ни тщеславились нашим проникновением за пределы мыслимых пространств, мы воспроизведем лишь атомы в сравнении с действительным бытием. Это бесконечная сфера, центр коей везде, а окружность нигде. Наконец, самое осязательное свидетельство всемогущества Божия — то, что наше воображение теряется в этой мысли. Пусть, пришедши в себя, человек посмотрит, что представляет он в сравнении со всем бытием, пусть представит себя как бы заблудившимся в этом далеком уголке природы и пусть по этой келье — я разумею Вселенную нашу — он научится ценить землю, царства, города и себя самого, в своем истинном значении.

Что такое человек в бесконечном?

Но чтобы увидеть другое столь же удивительное чудо, пусть он исследует один из мельчайших известных ему предметов. Пусть в крошечном теле какого-нибудь клеща он рассмотрит еще мельчайшие части, ножки со связками, вены

в этих ножках, кровь в этих венах, жидкость в этой крови, капли в этой жидкости, пар в этих каплях; разделяя еще эти последние вещи, пусть он истощит свои силы в этих представлениях, и да будет последний предмет, к которому он придет, предметом нашего разговора. Может быть, он подумает, что это уже самомалейшая малость в природе. Но я покажу ему новую бездну в ней. Я нарисую ему не только видимую Вселенную, но и мыслимую необъятность природы в рамке этого атомистического ракурса. Он увидит бесчисленное множество миров, каждый со своим особым небом, планетами, землей таких же размеров, как и наш видимый мир; на этой земле он увидит животных и, наконец, тех же насекомых, и в них опять то же, что нашел в первом; встречая еще в других существах то же самое, без конца, без остановки, он должен потеряться в этих чудесах, столь же изумительных по своей малости, сколько другие по их громадности. Ибо как не прийти в изумление, что наше тело, дотоле незаметное во Вселенной, которая, в свою очередь, незаметна в недрах всей природы, вдруг стало колоссом, миром, скорее всем в сравнении с недостижимым для воображения ничтожеством? Кто посмотрит на себя с этой точки зрения, испугается за себя самого. Видя себя в природе помещенным как бы между двумя безднами, бесконечностью и ничтожеством, он содрогнется при виде этих чудес. Я полагаю, что его любопытство превратится в изумление и он будет более расположен созер-

цать эти чудеса в молчании, чем исследовать их с высокомерием.

Да и что же такое, наконец, человек в природе? Ничто в сравнении с бесконечным, все в сравнении с ничтожеством, середина между ничем и всем.

«Сколько бы мы ни тщеславились нашим проникновением за пределы мыслимых пространств, мы воспроизведем лишь атомы в сравнении с действительным бытием». От него, как бесконечно далекого от постижения крайностей, конец вещей и их начало, бесспорно, скрыты в непроницаемой тайне; он одинаково неспособен видеть и ничтожество, из которого извлечен, и бесконечность, которая его поглощает. Убедившись в невозможности познать когда-либо начало и конец вещей, он может остановиться только на наружном познании середины между тем и другим. Все сущее, начинаясь в ничтоестве, простирается в бесконечность.

Кто может проследить этот изумительный ход? Только виновник этих чудес постигает их; никто другой понять их не может. Не обратив внимания на эту беспредельность, люди дерзнули исследовать природу, как будто имея некоторую соразмерность с ней. Странное дело: они захотели познать начало вещей и дойти таким образом до постижения всего — самоуверенность столь же бесконечная, как и самый предмет исследования. Очевидно, что подобное намерение немислимо

без такой самоуверенности или без способностей, столь же совершенных, как и природа. Сознывая же беспредельность и недостижимость познания нами природы, мы поймем, что она, отпечатлев свой образ и образ своего Творца во всех вещах, выражает в большинстве их свою двоякую бесконечность. Таким образом, мы убеждаемся, что всякое знание бесконечно по обширности его предмета; ибо кто сомневается, что геометрия, например, может представить неисчислимое множество задач? Они так же бесчисленны, как бесконечны их начала, ибо известно всем, что теоремы, считающиеся последними, не имеют основания в самих себе, а вытекают из других данных, которые, в свою очередь, опираются на третьи, и так далее без конца.

С последними выводами, представляющимися нашему разуму, мы поступаем как в материальных предметах, где точку, дальше которой не идут наши чувства, мы называем неделимой, хотя по своей природе она делима бесконечно.

Из этой двойной бесконечности знания мы чувствительнее к бесконечности величия, поэтому некоторые возымели уверенность в знании всех вещей. «Я буду говорить обо всем», — сказал Демокрит.

С первого взгляда видно, что уже одна арифметика представляет бесчисленные свойства, не говоря о других науках. Но бесконечность в малом видима гораздо меньше. Философы хотя и считали, что достигли этого, однако все

преткнулись именно на этом. Отсюда-то и произошли столь обычные заглавия, как: о начале вещей, о началах философии и другие подобные, хотя и не по внешности, а в действительности одинаково тщеславные, с бросающимся в глаза *De omni scibili* (то есть обо всем познаваемом. — *Прим. пер.*). Мы, естественно, считаем себя более способными достигать центра вещей, чем обнимать их окружность. Видимая обширность мира, очевидно, превосходит нас, но так как малые вещи превосходим мы, то и считаем себя более способными обладать ими; между тем для постижения ничтожества нужно не меньше способности, как и для постижения всего. Бесконечность ее нужна для того и другого, и мне кажется, что постигнувший последние начала вещей мог бы дойти и до познания бесконечного. Одно зависит от другого, и одно приводит к другому. Крайности сходятся, и соединяются в силу своего удаления, и находят друг друга в Боге, и только в Нем одном. Признаем же предельность нашего существа и наших познаний; мы — нечто, но не все. Уделенная нам частица бытия не дает возможности познать первые начала, родившиеся из ничтожества, и обнять нашим взором бесконечное. Наш разум, в порядке вещей умственных, занимает то же место, что наше тело в пространстве природы. Всесторонне ограниченное, это состояние, занимающее середину между двумя крайностями, отражается во всех наших способностях. Наши чувства не выносят

никаких крайностей. Слишком сильный шум оглушает нас, слишком яркий свет ослепляет, слишком далекое и слишком близкое расстояние мешает нам видеть; одинаково затемняет себя как чересчур медленная, так и непомерно быстрая речь; слишком много правды нас удивляет: я знаю таких, которые не могут понять, что, отнимая от нуля четыре, получаем нуль. Первые начала имеют для нас слишком много очевидности. Излишнее удовольствие беспокоит нас; чрезмерное созвучие не нравится в музыке и раздражает слишком щедрое благотворение: нам хочется иметь возможность вернуть долг с излишком: *Beneficia eo usque loeta sunt dum videntur exsolvi posse; ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur* («Благодеяния только тогда принимаются благосклонно, когда за них можно отплатить; если же они слишком велики, то порождают не признательность, а ненависть» [Тацит. Летопись, кн. IV, 18]). Мы не чувствуем ни крайнего тепла, ни крайнего холода. Чрезмерные обнаружения свойств пагубны, но не чувствительны для нас. Слаб как слишком юный, так и слишком старый ум; вредно и слишком мало, и слишком много учиться. Крайности как бы совсем не существуют для нас, а мы для них: они ускользают от нас, или мы от них. Таково наше действительное положение, и вот что делает нас неспособными знать навверное и совершенно ничего не знать. Мы как бы носимся по обширной поверхности вод, не зная пути, и постоянно

бросаемся из конца в конец. Только что думаем укрепиться на одном основании, оно колеблется и покидает нас; хотим ухватиться за него, а оно, не поддаваясь нашим усилиям, ускользает из наших рук, обращается в вечное пред нами бегство. Ничто для нас не останавливается. Таково наше естественное положение, как оно ни противно нам: мы горим желанием найти твердую почву, последнее незыблемое основание, чтобы воздвигнуть на нем башню и по ней добраться до бесконечного; но все здание наше рушится, и земля разверзается под нами до самых недр своих.

Перестанем же искать уверенности и прочности. Наш разум вечно обманывается непостоянством кажущегося; ничто не может утвердить конечного между двумя бесконечностями, которые заключают его и от него убегают.

Вполне сознав это, мы, думаю, будем сидеть спокойно, каждый в положении, назначенном ему природой.

Так как это выпавшее на нашу долю срединное положение всегда удалено от крайностей, то что за важность, имеет ли человек несколько большее понятие о вещах или не имеет? Ежели имеет, то смотрит на них несколько свысока. Но не всегда ли неизмеримо далек он от конечного и продолжительность нашей жизни не удалена ли так же бесконечно от вечности, протечет ли она десять лет более или менее? С точки зрения бесконечного все конечные вещи равны между

собой; и я не вижу причины, почему один предмет заслуживал бы большего внимания с нашей стороны, чем другой. Нам больно всякое сравнение самих себя с конечным. Если б человек изучил сперва самого себя, он увидал бы свое бессилие проникать за пределы конечного. Как может часть знать целое? Может быть, впрочем, он будет стремиться познать по крайней мере части, соизмеримые ему. Но все части мира находятся в таком отношении и сцеплении между собой, что невозможно, думается мне, узнать одну без другой и без целого. Человек, например, имеет отношение ко всему ему известному. Ему нужно место в пространстве, время для существования, движение для жизни, элементы для создания его тела, тепло и пища для питания, воздух для дыхания. Он видит свет, ощущает тела; все находится с ним в известной связи. Следовательно, чтобы познать человека, нужно знать, почему необходим, например, для его существования воздух; равно для ознакомления со свойствами и природой воздуха требуется узнать, каким образом он влияет на жизнь человека, и так далее.

Горение без воздуха не происходит, так что для познания одного нам необходимо исследовать другое.

Так как, следовательно, все вещи производятся и производят, пользуются помощью других и сами другим помогают, посредственно и непосредственно, и все взаимно поддерживаются естественной и неуловимой связью, которая со-

единает самые отдаленные и различные между собой вещи, то я считаю невозможным познать части без познания целого, равно как и познать целое без подробного ознакомления с частями.

В довершение нашей неспособности к познанию вещей является то обстоятельство, что они сами по себе просты, а мы состоим из двух разнородных и противоположных натур: души и тела. Ведь невозможно же допустить, чтобы рассуждающая часть нашей природы была не духовна. Если бы нам считать себя только телесными, то пришлось бы еще скорее отказать себе в познании вещей, так как немислимее всего утверждать, будто материя может иметь сознание. Да мы представить себе не можем, каким бы образом она себя сознала. Следовательно, если мы только материальны, то совсем не можем познавать что-либо; если же состоим из духа и материи, то не можем вполне познавать простые вещи, то есть исключительно духовные и исключительно материальные. Поэтому почти все философы смешивают понятия о вещах, говоря о чувственных, как о духовных, и о духовных, как о чувственных. Они смело повествуют, что тела стремятся книзу, к своему центру, избегают разрушения, боятся пустоты, имеют наклонности, симпатии, антипатии, то есть такие свойства, которые присущи только духам. Говоря же о духах, они рассматривают их как бы находящихся в пространстве, приписывают

им движение с места на место, что свойственно только телам. Вместо того чтобы воспринимать идеи этих чистых вещей, мы придаем им наши свойства и отпечатлеваем наше сложное существо на всех созерцаемых нами простых вещах. Ввиду нашей склонности придавать всем вещам свойства духа и тела, казалось бы естественным предполагать, что для нас весьма постижим способ слияния этих двух начал. На деле же это именно и оказывается для нас всего непостижимее. Человек сам по себе — самый дивный предмет природы, так как, не будучи в состоянии познать, что такое тело, он еще менее может постигнуть сущность духа; всего же непостижимее для него, каким образом тело может соединяться с духом. Это самая непреодолимая для него трудность, несмотря на то что в этом сочетании и заключается особенность его природы: *Modus quo corporibus adhaeret spiritus comprehendi ab hominibus non potest; et hoc tamen homo est* («Способ, каким соединяется тело с духом, не может быть постигнут человеком; хотя это соединение и составляет человека» [Бл. Августин: О духе и душе]).

Вот часть причин недомыслия человека в отношении природы. Она двояко бесконечна, а он конечен и ограничен; она продолжается и существует без перерыва, а он преходящ и смертен; вещи, в частности, погибают и изменяются ежеминутно, и он видит их только мельком; они

имеют свое начало и свой конец, а он не знает ни того ни другого; они просты, а он состоит из двух различных натур. Чтобы исчерпать доказательства нашей слабости, я окончу двумя следующими размышлениями.

2. Две бесконечности. Середина

Мы не можем понимать ни слишком быстрого, ни слишком медленного чтения. Слишком много и слишком мало вина: не давайте ему вина — он не найдет истины; дайте ему чересчур много — то же самое. Природа так прекрасно поставила нас в середине, что если мы изменим равновесие в одну сторону, то сейчас же изменим его и в другую. Это заставляет меня предполагать, что в нашей голове есть пружины, которые так расположены, что если тронуть одну, то непременно коснешься и противоположной. Рассуждать плохо как в слишком юном, так и в слишком зрелом возрасте. Пристрастие к чему-либо одинаково происходит и от недостаточного, и от слишком частого помышления о предмете. Если приняться за рассмотрение своего труда тотчас по его окончании, то бываешь слишком предрасположен к нему, а долго спустя — видишь, что стал чужд ему. Так и в отношении картин. Смотреть ли на них слишком близко или слишком издалека одинаково нехорошо; а ведь должна быть одна неизменная точка, с которой картину видно лучше всего. Другие точки зрения слишком близки,

слишком далеки, слишком высоки или чересчур низки. В искусстве живописи перспектива определяет такую точку, но кто возьмется определить ее в вопросах истины или морали?

3

Играя на человеке, думают, что играют на обыкновенном органе; это действительно орган, но орган странный, изменчивый, трубы которого не следуют одна за другой по близлежащим степеням. Умеющие играть только на обыкновенных органах не вызовут на таком органе стройных аккордов.

4

Мы так мало знаем себя, что иногда собираемся умирать, пользуясь полным здоровьем, или кажемся вполне здоровыми незадолго до смерти, не чувствуя, что скоро откроется горячка или образуется какой-нибудь нарыв.

Рассматривая малую продолжительность своей жизни, поглощаемую предшествующей и последующей вечностью (*Memoria hospitis unius diei proetereuntis* — «Проходит, как память об однодневном госте» [Прем. 5:14]), незначительность занимаемого мной пространства, незаметно исчезающего в глазах моих среди необъятных пространств, невидимых ни мне, ни другим, — я прихожу в ужас и изумление, почему мне нужно

быть здесь, а не там, почему теперь, а не тогда! Кто поставил меня здесь? По чьему повелению и назначению определено мне это место и это время? Почему ограничено мое разумение? Мой рост? Моя жизнь — почему ограничена она сотней, а не тысячью лет? По какой причине природа дала мне именно такую продолжительность жизни, почему именно это число, а не другое выбрала она в вечности, перед которой всякие числа теряют свое значение?

Статья II. ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА

1

Я одинаково порицаю и берущих на себя задачу восхвалять человека, и видящих в нем только унижительные стороны, а равно и тех, которые думают лишь, как бы развлечь его; одобрять же могу только с воздыханием ищущих истину. Стоики говорят: взойди внутрь себя, там твой покой; и это неправда. Другие говорят: не углубляйся в себя, ищи своего счастья вне себя — в развлечениях; и это неправда. Наступят недуги, и счастье окажется ни внутри, ни вне нас: оно в Боге и вне, и внутри нас.

2

Природу человека можно рассматривать с двух сторон: по отношению к цели его, и тогда он является великим и несравненным, или

как смотрит большинство, как судят, например, о натуре лошади или собаки, то есть хорошо ли она бежит и хорошего ли нрава, тогда человек покажется отвратителен и жалок. Таковы два пути, ведущие к совершенно разным заключениям и служащие поводом к столь жарким спорам философов. Ибо один отрицает предположение другого; один говорит: он рожден не для этого (высокого) назначения, так как все действия его тому противоречат; другой говорит: он удаляется от своей цели, если делает такие низкие дела.

3

Мы такого высокого понятия о душе человека, что не можем переносить ее презрения, обойтись без того, чтобы какая-нибудь душа нас не почитала; все блаженство людей состоит в этом почете. Самая низкая черта в человеке, но вместе с тем и величайший признак его превосходства — это искание славы. Действительно, чем бы человек ни обладал на земле, каким бы здоровьем и удобствами ни пользовался, он недоволен, если не пользуется почетом у людей. Он так уважает разум человека, что, имея всевозможные преимущества, если не занимает выгодного места в умах людей, он недоволен. Это место ему нравится больше всего на свете: ничто не может отвлечь его от этого желания; и это самое неизгладимое свойство человеческого сердца. Даже презирающие род людской, при-

равнивающие его к животным, и те хотят, чтоб люди удивлялись и верили им. При этом они противоречат самим себе, своим собственным воззрениям: природа их, которая все превозмогает, убеждает их в величии человека сильнее, чем разум — в его низости.

4

Несмотря на все обуревающие нас немощи, мы не можем подавить в себе невольного возвышающего нас инстинкта.

5

Величие человека так заметно, что доказывается даже самой его немощью. Что свойственно природе животных, то в человеке мы называем слабостью, доказывая этим, что если теперь природа его уподобляется природе животных, то, стало быть, он лишился лучшей природы, некогда ему свойственной. Ибо кто, кроме царя, лишившегося трона, может считать себя несчастным вследствие потери царства? Разве считали Павла Эмилия несчастным, когда он перестал быть консулом? Напротив, все считали его счастливым, что он был консулом, потому что это звание не было пожизненным. Персея же называли несчастным, потому что он лишился царства, которое бы ему всегда должно было принадлежать, и даже удивлялись, что с горя он

не лишил себя жизни. Горюет ли кто, что у него только один рот? И кто не посетует, лишившись одного глаза? Вряд ли кому приходило когда-нибудь в голову печалиться, что у него не три глаза; но ничто не может утешить лишившегося зрения.

6

Несчастливым может быть только существо сознательное. Разрушенный дом не может быть несчастным. Бедствовать сознательно может только человек. *Ego vir viden* (отрывок из Плач. 3:1: «Я человек, испытавший горе». — *Прим. пер.*).

«Человек сам по себе — самый дивный предмет природы, так как, не будучи в состоянии познать, что такое тело, он еще менее может постигнуть сущность духа; всего же непостижимее для него, каким образом тело может соединяться с духом».

7

Человек велик, сознавая свое жалкое состояние. Дерево не сознает себя жалким. Следовательно, бедствовать — значит сознавать свое бедственное положение; но это сознание — признак величия.

Вся бедственность, все эти несчастья человека доказывают его величие. Это несчастья вельможи, царя, лишенного короны.

8

Так как о ничтожестве судят по величию, а о величии — по ничтожеству, то одни доказали полную нищету человека тем легче, что основали это доказательство на величии; а так как другие доказывали с таким же успехом величие, выводя его из самой бедственности, то все, что одни могли привести в доказательство величия, послужило другим лишь аргументом в пользу бедственности, потому что бедствие тем ощутительнее, говорили они, чем полнее было предшествующее ему счастье; другие же утверждали противное. Так споры их вращались в кругу бесконечном, ибо, по мере разумения своего, люди находят в себе и величие, и ничтожество. Одним словом, человек сознает свое жалкое состояние. Он жалок потому, что таков и есть на самом деле; но он велик, потому что сознает это.

9

Я легко могу представить себе человека без рук, без ног, без головы, так как только опыт научает нас, что голова нужнее ног; но я не могу вообразить себе человека без мысли: это был бы камень или животное. Следовательно, мысль отличает существо человека, и без нее нельзя себе его представить. Чем именно мы ощущаем удовольствие? Пальцами ли? Рукой ли? Мышцами ли, кровью ли? Понятно, что это ощущающее в нас должно быть нечто невещественное.

10

Не в пространстве, занимаемом мной, должен я полагать свое достоинство, а в направлении моей мысли. Я не сделаюсь богаче через обладание пространствами земли. В отношении пространства Вселенная обнимает и поглощает меня как точку; мыслью же своей я обнимаю ее.

11

Человек — самая ничтожная былинка в природе, но былинка мыслящая. Не нужно вооружаться всей Вселенной, чтобы раздавить ее. Для ее умерщвления достаточно небольшого испарения, одной капли воды. Но пусть Вселенная раздавит его, человек станет еще выше и благороднее своего убийцы, потому что он сознает свою смерть; Вселенная же не ведает своего превосходства над человеком.

Таким образом, все наше достоинство заключается в мысли. Вот чем должны мы возвышаться, а не пространством и продолжительностью, которых нам не наполнить. Будем же стараться хорошо мыслить: вот начало нравственности.

12

Очевидно, человек создан для мышления; в этом все его достоинство, вся его заслуга, и весь долг его — мыслить как следует, а порядок мысли — начинать с себя, со своего Создателя и своего назначения.

А о чем думает свет? Он никогда об этом не думает: он помышляет о танцах, музыке, пении, стихах, играх и так далее, думает, как бы подраться, сделаться царем, не задумываясь при этом, что значит быть царем и что значит быть человеком.

13

Все достоинство человека в мысли. Мысль, стало быть, по природе своей есть нечто удивительное и несравненное. Чтобы сделаться достойной презрения, она должна была обнаружить странные недостатки; да она и на самом деле имеет их, и самые смешные. Как величественна она по своей природе! Как жалка она по своим недостаткам!

14

Опасно слишком много указывать человеку на его сходство с животными, не показывая ему его величия. Опасно также слишком часто обращать его внимание на его величие, не напоминая о его ничтожестве. Опаснее всего оставлять его в неведении того и другого. Напротив, весьма полезно представлять ему то и другое. Не следует человеку думать, ни что он равняется животным, ни что он равен ангелам, и нельзя допускать, чтобы он не ведал ни того ни другого; следует ему знать и то и другое одновременно.

15

Пусть человек узнает теперь цену себе. Пусть он любит себя, так как в его природе есть способность к добру; но пусть он ради этого не любит присущих ему злых сторон. Пусть презирает себя, так как эта способность праздная; но не презирает для этого и своей естественной склонности к добру. Пусть ненавидит, пусть любит себя: он носит в себе способность познавать истину и быть счастливым; но самой истины, постоянной и удовлетворяющей, в нем нет.

Поэтому мне хотелось бы возбудить в человеке желание отыскать эту истину, довести его до свободы от страстей и готовности последовать за истиной туда, где найдет ее. Зная, насколько его познание затемнено страстями, я бы хотел, чтобы он возненавидел в себе чувственность, управляющую его волей, чтобы она не ослепляла его при выборе и не в силах была бы остановить его, когда выбор будет сделан.

«Пристрастие к чему-либо одинаково происходит и от недостаточного, и от слишком частого помышления о предмете».

16

По мере вразумления нашего мы открываем в человеке более и более величия и низости. Сперва обыкновенный уровень людей, затем идут люди более образованные, наконец, фило-

софы; последние составляют предмет удивления обыкновенных людей. Высшая затем степень — христиане; им дивятся философы. Что же удивительного после этого, что религия основательно знает то, что дается по мере просвещения?

17

Я сознаю, что мог бы совсем и не быть, ибо мое Я заключается в моей мысли; стало быть, я, который мыслю, не существовал бы, если б мою мать убили прежде, чем я получил душу; следовательно, я существо не необходимое. Равно, я ни вечен, ни бесконечен; но я ясно вижу, что есть в природе Существо необходимое, вечное и бесконечное.

Статья III. СУЕТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ВООБРАЖЕНИЕ, САМОЛЮБИЕ

1. Суетность

Мы не довольствуемся жизнью, которую имеем в себе и в собственном бытии нашем: мы хотим жить в мысли других жизнью кажу-щейся и прилагаем к тому все наши усилия. Мы беспрестанно заботимся о том, как бы сберечь и украсить это воображаемое бытие, действительное же у нас в небрежении; если в нас есть молчаливость, великодушие или верность, мы стараемся выставить их напоказ, с целью при-

дать эти добродетели мнимому существу: мы готовы скорее лишиться их сами, чтобы украсить ими то существо, так что охотно, например, сделались бы малодушными, чтобы прослыть мужественными. Веским доказательством ничтожности нашего собственного существа служит то, что мы не довольствуемся одним им без того другого, отрекаемся часто от одного в пользу другого! Кто для сохранения своей чести не пожертвовал бы жизнью, назван был бы бесчестным. Слава так сладостна для нас, что, с чем бы она ни соединялась, хотя бы даже со смертью, мы любим ее.

2

Гордость перевешивает все немощи. Она или скрывает их, или если и обнаруживает, то тщеславится их сознанием. Среди всех наших слабостей, заблуждений и прочего она так от природы сильна в нас, что мы с радостью отдаем самую жизнь, лишь бы только о том говорили.

3

Тщеславие так укоренилось в сердце человека, что похвалиться не прочь и солдат, и денщик, и повар, и носильщик; всякому любо иметь своих поклонников; да и философы не чужды этому чувству. Сами пишущие против славы хотят иметь славу хороших писателей, а читатели их

похвалиться, что прочли их; да и сам я, пишущий это, имею, может быть, то же желание, а равно и читатель.

4

Мы до того тщеславны, что хотели бы быть известными всему миру и даже последующим поколениям; суетность так сильна в нас, что уважение пяти-шести окружающих лиц доставляет нам удовольствие.

5

Любознательность тоже тщеславие. Чаше всего мы хотим знать только для того, чтобы сообщить об узнанном. Не стали бы разезжать по морям ради одного удовольствия видеть море без надежды когда-нибудь рассказать виденное.

6

В городе, через который только проезжают, не заботятся приобрести уважение; иное дело, если приходится пробыть в нем некоторое время. Но сколько именно? Смотря по продолжительности нашей суетной и жалкой жизни.

7

Желающий узнать суетность человека пусть рассмотрит только причины и последствия любви. Причиной ее «я не знаю что» (Корнель), а по-

следствия ужасны. Это «не знаю что», настолько малое, что не может быть узнано, движет государями, армиями, всем светом. Будь нос Клеопатры покороче, иное было бы лицо земли.

8

Удивительно, что столь очевидная вещь, как людское тщеславие, до такой степени мало известно, что кажется странным и необыкновенным назвать глупостью стремление к почестям и величию.

9. Самолюбие

Сущность самолюбия и этого человеческого Я в том, чтобы любить только себя и сообразоваться только с собой. Но что же выходит? Оно не может помешать своему предмету избавиться от множества его недостатков и немощей: человек хочет быть великим, а видит себя малым; хочет быть счастливым, а сознает себя несчастным; желает быть совершенным, а находит себя полным несовершенств; хочет стать предметом любви и уважения людей, а убеждается, что недостатки его заслуживают лишь их отвращения и ненависти. Такое затруднительное положение производит в нем самую несправедливую и самую преступную страсть, какую только можно представить себе: он начинает смертельно ненавидеть истину, которая укоряет и убеждает его

в его недостатках. Он хотел бы уничтожить ее, но, не будучи в силах разрушить ее самое, он, сколько может, разрушает ее в сознании своем и других, то есть прилагает все усилия скрыть свои недостатки и от других, и от себя самого, и не терпит ни чтобы их указывали ему, ни чтобы видели сами.

Быть полным недостатков, без сомнения, дурно; но еще того хуже не хотеть сознавать их, так как этим мы прибавляем зло произвольного обмана. Мы не хотим, чтобы другие нас обманывали, находим несправедливым желание их пользоваться нашим уважением в большей мере, чем они заслуживают; поэтому несправедливо и с нашей стороны обманывать их и желать, чтобы они уважали нас превыше наших заслуг.

Таким образом, открывая в нас действительно присущие нам несовершенства и пороки, они ни малейше не обижают нас, ибо не они виновны тому; напротив, они делают доброе дело, помогая нам избавиться от зла, состоящего в неведении этих недостатков. Мы не должны сердиться, что они знают их, ибо мы таковы на самом деле, и пусть они презирают нас, если мы достойны презрения. Такие-то чувства должны бы родиться в правдивом и искреннем сердце. Что же сказать нам о нашем, видя в нем совсем противоположные наклонности? Разве не верно, что мы ненавидим правду и тех, которые ее высказывают, любим, когда они ошибаются в нашу пользу, и желаем от них большего уважения, чем

то, которое они к нам питают? Вот одно доказательство, которое меня ужасает. Католическая религия не обязывает открывать свои грехи всем без различия; она допускает утаение их от всех других людей, за исключением одного, которому мы должны открывать глубину нашего сердца и показывать себя в своем настоящем виде. Это единственный человек, которого она повелевает нам не вводить в заблуждение и возлагает на него долг ненарушимой тайны, так что это знание в нем как бы не существует. Можно ли представить себе что-нибудь более милосердное и доброе? Несмотря на то, испорченность человека так велика, что он еще находит суровым этот закон, и это было одной из главных причин возбуждения против Церкви значительной части Европы.

Как несправедливо и нерассудительно сердце человека, если он находит дурное в возлагаемой на него обязанности делать по отношению к одному человеку то, что, по справедливости, он должен был бы делать по отношению ко всем людям! Разве справедливо с нашей стороны обманывать их?

Это отвращение к правде проявляется в различных степенях; но можно сказать, что до некоторой степени оно существует во всех, будучи неразлучно с самолюбием. Эта порочная щекотливость заставляет людей, принужденных необходимостью обличать и порицать других, прибегать к стольким изворотам и смягчениям,

чтобы как-нибудь не оскорбить их. Им поневоле приходится умалывать наши недостатки, показывать вид, что извиняют их, примешивать похвалы и изъявления дружбы и уважения. При всем том это лекарство не перестает казаться горьким для самолюбия, которое принимает его как можно меньше и всегда с отвращением, часто даже с тайной досадой на подающих. От этого происходит, что имеющий интерес быть любимым нами избегает оказывать нам услугу, которая, по его мнению, может быть нам неприятна. С нами поступают так, как мы хотели бы, чтоб поступали с нами; мы ненавидим правду, и ее скрывают от нас; желаем лести, и нам льстят; мы любим, чтобы нас обманывали, и нас обманывают. Поэтому, чем выше наше положение в свете, тем больше мы удаляемся от истины, благодаря тому что люди больше остерегаются оскорблять тех, чье расположение полезнее, а вражда более опасна. Иной государь становится притчей в целой Европе, и только он один об этом не знает. Я не удивляюсь тому: говорить правду полезно для того, кому говорят, но невыгодно для говорящих, так как возбуждает против них ненависть. А так как приближенные государя считают свои интересы ближе себе, чем интересы монарха, то и не заботятся принести ему выгоду во вред себе.

Это несчастье, без сомнения, больше и обыкновеннее среди самых богатых и сильных; но не свободны от него и люди более мелкие, потому что всегда найдется интерес привлечь к себе

людское расположение. Таким образом, жизнь человеческая не больше как постоянная иллюзия; люди только обманывают и льстят друг другу. В нашем присутствии никто не говорит о нас так, как говорит за глаза. Связь между людьми основывается только на этом взаимном обмане. Не много бы дружбы уцелело, когда бы каждый знал, что друг его говорит о нем в его отсутствие, хотя в таком случае он говорит о нем вполне искренно и беспристрастно.

Человек, таким образом, есть лишь притворство, ложь и лицемерие, как по отношению к самому себе, так и к другим. Он не хочет, чтоб ему говорили правду, и сам избегает говорить ее другим; все эти наклонности, столь чуждые справедливости и разуму, от природы глубоко коренятся в его сердце.

10. Воображение

Воображение — это именно та обманчивая сторона в человеке, которая вызывает и руководит всеми его заблуждениями, сторона тем более опасная, что обманывает не всегда; иначе, если бы ложь была всегда присуща ей, она сделалась бы непогрешимым руководством истины. Но, будучи всего чаще ложной, она не дает нам никаких признаков, по которым бы мы могли судить о ней, так как отмечает одинаковыми чертами и ложь, и правду. Я говорю не о глупцах, а о самых умных, и между ними-то

преимущественно воображение имеет великий дар убеждать людей. Как бы громко рассудок ни говорил, он не может оценивать вещей. Эта гордая власть, враждебная рассудку и старающаяся держать его в своих руках, чтобы показать свою вездесущую мощь, создала в человеке вторую натуру. У нее свои счастливы, свои несчастливы, свои больные, свои богатые, свои бедняки: она заставляет разум верить, сомневаться или отрицать; она или устраняет чувства, или заставляет их действовать; у нее свои глупцы и свои умники. Всего же досаднее то, что она несравненно больше и полнее разума удовлетворяет своих приверженцев. Считающие себя умными гораздо довольнее собой, чем просто благоразумные люди. Они смотрят на людей свысока, ведут споры дерзко и уверенно; тогда как другие высказывают свое мнение робко и нерешительно. Эта смелость часто склоняет в их пользу мнение слушателей: так много расположения встречают эти мнимые мудрецы в среде судей, им подобных! Самовоображение не может умудрить глупцов, но делает их счастливыми назло разуму, который приносит своим приверженцам только несчастье. Одно покрывает их славой, другой — стыдом.

Кто распоряжается известностью? Что составляет почет и уважение лицам, трудам, законам, знатным, как не эта воображающая способность? Всех богатств земли мало, если нет ее согласия.